

# Уроки мастера

УВИДЕЛ я его впервые, когда мне было тринадцать лет, в переулке Стопани, в старом особнячке Дома пионеров.

Послевоенная, дотелевизионная эпоха. Время залатанных, ветшающих библиотечных книг. Ше скрою, школа иногда отшибала не только вкус к классике, но и интерес к современной литературе. Сочинения дробились на черточки и черты, на пункты, как бы разрывающие живую, образную плоть литературы. Классика сопротивлялась этому. Ни Татьяна Ларина, ни Пьер Безухов не дробились, не поддавались примитивному стремлению подвести под гениальный художественный поиск, под наблюдение, выстрададанное жизнью, некий общий знаменатель. Некоторые современные книги поддавались легке. В них были заданность и назидательность. Нам же хотелось искренности, правды чувств, высокой романтики. Таким был Паустовский. Его проза рождала в тебе сопричастность к Слову.

Паустовский, которого я увидел, походил на свои рас-

сказы. Мы не могли тогда сформулировать, чем. Потом, уже повзрослев, я понял: живым подлинным интересом к людям, к каждому из нас, а значит, и к Времени, точностью суждений, одновременно тонкой иронией, наблюдательностью и возвышенностью взглядов.

В тот раз он говорил о Гайдаре, которого мы не знали, о Гайдаре, мучающемся, ищущем слово... Мы осознали тогда, как тяжело дается слово, если оно выкристаллизовано биографией, судьбой.

Паустовский как-то написал: «Романтическая настроенность не позволяет человеку быть лживым, невежественным, трусливым и жестоким. В романтике заключена облагораживающая сила».

Он прекрасно понимал, что истинная романтическая настроенность свойственна людям, прошедшим испытания жизнью, потрясения, знавшим

грубость жизни, боль, страдания. Поэзия дается тем, кто знает прозу жизни. Сам он в полной мере эту прозу узнал. Санитар на полевых и тыловых санитарных поездах первой мировой войны, рабочий металлургического завода в Екатеринославе, рыбак на Азовском море, репортер, редактор РОСТА — и всегда, всегда пытливым, вглядывающийся в людей, пытающийся постичь их суть, их способность понимать и охранять добро, отстаивать истинные ценности человеческого существа.

В конце пятидесятых годов я вдоль и поперек исходил мещерский край, открывая в реальности то, что художественно было открыто Паустовским. Все было несколько иным, и сложнее, и проще, но я чувствовал на этой весенней, еще непрогретой земле, в этих еще не отряхнувших снег лесах —

«ветр с цветущих берегов». Что это за цветущие берега? Реальность, увиденная подробно, во всех деталях, но чуть-чуть необычным, смещенным зрением, как бы взглядом ребенка, видящего все впервые и потому не потерявшего ощущения чуда.

Я долго и мучительно ходил вокруг дома гравера Пожалостина в Солотче, в котором в то время жил Паустовский. Так и не решился зайти к нему. Коренастый, чуть сутулящийся человек прошел мимо меня, на секунду наши взгляды встретились, он спросил: «Вы ко мне?» Мучительно заробев, я ответил: «Нет».

Я познакомился с ним позднее, через много лет. После той первой встречи в Солотче ругал себя за робость, за нерешительность, а потом понял, что был прав, что нельзя было врываться со своими детскими вопросами в дом, где работает художник, что свой от-

вет на вопросы он даст в книгах, а может быть, даже и не даст, ибо не на все вопросы художник может ответить, назначение его — самому больше спрашивать, будить людей, взывать к их совести.

Один из главных вопросов, которые задавал себе и читателям Паустовский, был вопрос, извечный для русской литературы: как жить, во имя чего?

В прекрасных рассказах «Телеграмма», «Дождливый рассвет» говорится о единственности и ценности человеческой жизни, о том, что самое малое нравственное упущение не прощается, не исчезает, не улетучивается, каждое может обернуться или гибелью души, или этическим уроком, как бы приподнимающим человека.

Поистине неутомимый путешественник, исходивший всю страну, написавший о Колхиде, с Кара-Бугазе, о

Карелии и Кольском полуострове, более всего, с наивысшей силой любви и понимания о Средней России, Мещере с ее пасмурным небом, помаргивающими дождями, с дымком деревень и сырым луговым ветром, он тянулся все же не к художественному освоению пространства, истинным предметом его путешествия была живая душа человеческая.

«Всегда думаешь о ком-нибудь одном, хотя бы о девочке с нестерпимо сияющими глазами, что когда-то бежала ко мне навстречу по лугам, чтобы, добежав, схватить меня за локоть и сказать, задыхаясь от бега: «А я вас давно здесь жду».

Все люди давно ждут. Ждут друг друга, ждут любви, понимания, иногда так и не дожидаются, но жизнь потеряла бы многое, если бы человек не ждал и не думал о «ком-нибудь одном».

Это вовсе не умаляет, что — об одном.»

Паустовский понимал целетельную силу такого ожидания. Я уже говорил, что он не боялся открытого чувства,

слез на глазах. Слез, а не слезливости. Сострадания, а не сантимента. Он понимал, что человек должен уметь сопереживать другому, юная душа, не узнавшая сопереживания, черствеет и ожесточается. Один из уроков Паустовского — это чувство незапрятанное, не стесняющееся самого себя, а в искусстве, в литературе — не прикрытое подтекстом.

Не всякое чувство такое выдержит. Иное обернется чувствительностью, слезливой сентиментальностью. Подлинное выдержит и удивит нас своей цельностью. Цельность и благородством чувств.

Мы с благодарностью вспоминаем его уроки, не только литературные. Он был гражданином, хранителем древности, художником, чья любовь к Родине не одними только признаниями проверялась. Чувствуя свою ответственность перед будущим, он знал, что надо помнить и охранять прошлое. Этому делу Паустовский служил с молодых своих лет и до конца жизни.

Владимир АМЛИНСКИЙ.

Сем. Цурова, 1982, 22 мая